

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

SUOR MARIA

Мисс Май

Зинаида Гиппиус

Suor Maria

«Public Domain»

1904

Гиппиус З. Н.

Suor Maria / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1904 — (Мисс Май)

«Андрей шел вверх по некрутой влажной дорожке нагорного парка. Справа все выростало море, дрожащее под огнем солнца, зеленовато-воздушное, каким бывает только Адриатика в ослепительное осеннее утро. Какая осень! Прекрасна, как весна, но прекраснее: это мудрая весна. Весна – бездумная радость настоящего, а в этой осени – торжество жизни и торжество смерти в единой радости бессомненного будущего воскресенья...»

© Гиппиус З. Н., 1904

© Public Domain, 1904

Содержание

I. Никогда	5
II. «Она»	7
III. Учитель	8
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Зинаида Гиппиус

Suor Maria¹

Intermezzo

I. Никогда

Андрей шел вверх по некрутой влажной дорожке нагорного парка. Справа все выросло море, дрожащее под огнем солнца, зеленовато-воздушное, каким бывает только Адриатика в ослепительное осеннее утро. Какая осень! Прекрасна, как весна, но прекраснее: это мудрая весна. Весна – бездумная радость настоящего, а в этой осени – торжество жизни и торжество смерти в единой радости бесспорного будущего воскресенья.

Андрей шел медленно. Дорога все поднималась, и он немного устал: и от подъема, и от влажных, резких запахов, и от сверканья солнечного моря.

Странно сказать: он в первый раз был за границей, в первый раз видел южное море, – хотя, казалось ему, за все эти долгие годы желание уехать, видеть, взглянуть не оставляло его, да и возможности были.

Пятнадцать лет он женат. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как он, кончив Московский университет, приехал в родные Вишняки, хутор в Малороссии, где летом и женился. Потом жил он то в ближнем губернском городе, то на хуторе, а когда умерла мать – семья его окончательно поселилась на хуторе.

Это был уже не прежний, тонкий, как верба, высокий и бледный юноша – Андрей. Это был целый Андрей Николаевич, поплывший, немного отяжелевший, – но странно! – как-то все-таки не солидный. Не хозяйственный помещик, не бывший член контрольной палаты, не видный земский деятель. Он был моложав той молодостью, которую дает вечное внутреннее – неопределенное – беспокойство, неуверенность; может быть, постоянная тихая мука.

Андрей сел на скамейку, прямо против высокого ослепительного моря, и задумался.

Не то что задумался... но здесь, за границей, те припадочки тоски, необъяснимой и удушливой, которые мучили его в юности, да и всю жизнь, – превратились в одну, почти сплошную, муку; глупую, потому что он не знал причины; досадную, потому что и море, и горы, и лавры, и солнце нравились ему безмерно, тянули и умиляли; а между тем, точно именно от них-то подымалась и ела душу эта острозубая, глухонемая тоска.

«Что мне нужно? – думал Андрей. – Чего мне недостает и всегда недоставало? Катя у меня хорошая, здоровая, детки славные, все мне удавалось... Что у меня за характер ничтожный! Место бросил, службу в земстве бросил, хозяйство больше Катя ведет, чем я. Шлялся в Петербург, в Москву, туда, сюда... Знакомился с людьми – обрывал... Теперь сюда собрались – и отлично бы... И отель прекрасный попался, Катя со мною, Митька мой со мной, остальные дети здоровы и там под надежным присмотром... Чего мне? Болен я, что ли? Или мне скучно?»

Но он был здоров, и, конечно, ему не было скучно. Яркое настойчивое солнце двойными лучами, отраженными в море и небесными, обжигало его, золотило бледные волосы, остриженные коротко, щеточкой, чуть-чуть поредевшие. Он снял шляпу и, почти не щуря глаз, отдавался тревожной ласке солнца.

Поплывшее моложавое лицо его с мелкими чертами казалось еще моложавее оттого, что он не носил бороды и стриг свои очень светлые усы. Катя до сих пор звала его иногда «красавец ты мой», хотя особенно красивым Андрей никогда не был. Красивы были только руки, большие, бессильные, с розовыми продолговатыми ногтями. А лицо его, особенно в минуты тоски, было почти неприятно, жалко и мучительно.

«Так сидеть, так сидеть, и чтобы время шло, солнце светило, море улыбалось, чтобы пахло лаврами и мятой, а больше чтобы ничего не было... И меня не было... Не было...»

Толстая немка с двумя, тоже грузными, вспотевшими и довольными немцами, прошла мимо, и странно поглядели они все на этого рассеявшегося на самом припеке господина, мечтательно глядящего на солнце.

Андрею стало стыдно. Не перед ними, а перед собой.

В самом деле, толстый и почтенный Андрей Николаевич, отец семейства, написавший целую брошюру о чересполосном хозяйстве, ораторствовавший на земских съездах, – сидит, разнежился, в пантеизм какой-то ударился, еще немножко – и опять в философию свою пустится...

Ненавидел это в себе Андрей, но что же делать?

«Чего мне надо? Ну, не знаю ничего; ну, не узнаю никогда, сколько бы еще книг ни прочитал. Да ведь и никто ничего не знает и никогда не узнает!»

II. «Она»

Андрей часто думал, что это «она» его отравила. Правда, и до «нее», бывали у него эти приступы тоски, и даже в тот самый день, когда «она» приехала в Вишняки, пятнадцать лет тому назад, – он бродил один с утра, бродил по лесу без мыслей, только смотрел, как теплый весенний воздух дрожит и струится на солнце между полуголыми ветвями деревьев да из-под прошлогодних листьев поднимаются белые робкие цветы.

Это было до «нее»; до того ослепительного весеннего утра, когда он увидел на балконе, неожиданно, белую девушку с прозрачным лицом. Всегда – и в эту первую минуту, и потом, когда он целовал ее на берегу сонного пруда, – она казалась ему невозможной, далекой, точно чтобы дотронуться до нее, надо было перейти небесные и облачные пропасти, и даже лучше совсем до нее не дотрагиваться.

Он уже считался женихом милой Кати, которую знал и любил с детства, когда тетка Анна Ильинична приехала в Вишняки со своей воспитанницей – приемной дочерью, как она ее называла. Она была нерусская, эта странная девушка, но родной Андрею пруд, родные ивы бросали на нее так свои отсветы и тени, точно они были ее, точно они и она были одно. Андрей полюбил в ней все, во всем – ее.

И до такой степени не похожа была эта любовь на любовь к невесте, что он даже не мучился, не страдал. Просто открыл в себе душу и сейчас же отдал ее девушке в белом платье.

Когда весна перешла в лето, когда все распустилось, разошлось, когда раскрылся каждый лист, не оставляя места никакой тайне, – она сказала Андрею, что уедет, потому что «кончилось». На его растерянные слова: «Но я не могу... я должен быть с тобой... мы женимся...» – она качала головой:

– О, нет. Я не жена. У тебя была любовь в душе. О чем ты заботишься?

И она уехала. А он остался, и вскоре состоялась его свадьба с Катей, такой милой, хорошей, приятной ему девушкой. И стали они жить, и жизнь пошла хорошо, и все им удавалось. Андрей получил место в губернском городе, через несколько времени Кате досталось недурное наследство. Вот только дети не все жили; Катя рожала почти каждый год, но несколько раз несчастливо, и теперь у них было только четверо. Зато оставшиеся – такие славные, здоровые бутузы, один пятилетний Митя послабее, оттого они и взяли его с собой сюда. Не всех же тащить!

А все-таки «она», та, его отравила. Он никогда с тех пор не слышал о ней, тетка Анна Ильинична вскоре умерла за границей, и никто не говорил ему, что случилось с ее приемной дочерью. Может быть, тоже умерла. Но это все равно. Она глядела на него сквозь весенние листья, сквозь стекло пруда, улыбалась около него, когда он говорил свои речи на съездах, – и он не понимал, почему он не забывает? Что ей от него нужно?

И два короткие вопроса, детски простые, помимо всякого разума, не отступали от Андрея в часы его тоски. Два вопроса, на которые у каждого есть свой ответ, да и у самого Андрея, казалось, был. А они опять приходили, точно нерешенные. Первый: как жить? Второй: как любить?

III. Учитель

От нелепой муки этих, таких ненужных, таких, в сущности, праздных и старых вопросов – Андрей отделаться не мог.

Они заставляли его бросаться в разные стороны и не кончать начатого. Они толкали его то к книгам, то в Петербург, к «новым людям», то к народу. И отовсюду он молчаливо и неутоленно возвращался к своей семье, к милой, доброй, дельной и ничего не подозревающей Кате.

Да и как ей было подозревать? Андрей не говорил с ней, когда на него «находило». Он уезжал, молчал, сказывался нездоровым. А в другое время он был такой обыкновенный, милый, хороший, нежный муж, уступчивый – только вот не ревнивый, что Катю немножко даже обижало, казалось непонятным.

Непонятно ей было и то, почему он ушел из земства. Его так любили! Но это неплохо: муж будет при ней, не надо уезжать по делам, может быть, займется деревенским хозяйством...

А нынешней весной об опять уехал. Сказал, что в Москву, а сам поехал в Ясную Поляну ко Льву Толстому. Как-то так вышло, внезапно; без рассуждений решил. Ему вспомнились и потом все припоминались каждый день слова Левина: «Для того, чтоб жить, я должен знать, откуда я и зачем я здесь. А так как я этого не знаю и никогда не узнаю – следовательно, жить нельзя».

Андрею казалось, что это не Левин говорил, а сам Толстой. Говорил искренно, думал именно так; а вот живет до сих пор; значит, узнал, «откуда и зачем он здесь»; значит, решил вопрос, *как* жить. Андрей верил в Толстого; но не словам его, написанным, верил, в которых часто видел противоречия и смуту для себя, – но как на человека на него надеялся, как на учителя, который может ему *сказать*. Что-то сказать, что ему, Андрею, нужно.

Впрочем, он и в это верил не ясно, не твердо. Как-то неопределенно. Поехал потому, что надо же было что-нибудь делать, искать, пытаться, спрашивать... Жить как-нибудь.

Здесь, теперь, над теплыми бело-голубыми адриатическими волнами, Андрей живо вспомнил эту поездку.

Был холодный, точно осенний, май; только светло было по-вешнему. Андрей всю дорогу до Москвы до яснополянской станции Щекина мучился неловкостью, глупым стыдом и даже страхом.

Ну, пусть ездят к великому писателю все, и он всех принимает; пусть ездят другие из благоговения, из любопытства, пусть им не стыдно; но он, Андрей, едет за важным делом, которое сразу не скажешь... и ему стыдно и страшно. Именно потому и страшно. Приехал незнакомый и неведомый человек, даже не разделяющий взглядов учителя, – приехал как к учителю, однако – с наивным, детским и бездонным вопросом: как жить? Да его именно от простоты и нельзя высказать. И нелепость, и стыд.

Рядом в купе ехали новобрачные: плосколицый студент и его маленькая толстенькая подруга с малокровным цветом губ. Оба они казались скучающими, и говорить им между собой точно было не о чем. Андрей с унынием глядел на них. Зашел в вагон-ресторан. Там два инженера говорили громко, как на сцене, о семейных делах, а потом весь вагон заговорил о войне, без оживления, а точно по обязанности, – и опять было скучно.

На станцию Андрей приехал уже в пятом часу. Набежала тучка, пошел дождь, холодный, но все-таки майский, и остро запахло чуть распускающиеся листья акаций у станционного забора.

Андрей действовал уже почти без мыслей, в силу сцепления поступков: вышел, нанял извозчика в Ясную Поляну и поехал.

Дождик перешел. Холодно, ветрено, но сверху смотрит солнце на бледные поля, от каждого дерева по дороге дышит живой весной, невидимые жаворонки смеются где-то – точно воздух смеется и поет над полями...

Деревня. Грязная, бедная. Избы крыты соломой. В конце деревенской улицы две белые колонны – въезд в усадьбу. Длинная-длинная аллея. Мокрое, лоснящееся вечернее солнце ложится на дорогу между стволами деревьев...

Андрей не рассуждал и не мучился больше, он покорился своим последовательным действиям до конца. Он говорил что-то, какие-то обычные слова, бормотал какие-то извинения, называл свою фамилию, – все это было и нужно, и не нужно, и все как будто обошлось очень просто.

В большой длинной зале с шестью окнами, по три на каждом узком конце, сели обедать. Было много народу, мужчины и дамы разных возрастов – «всё своя семья», сказала графиня, усаживаясь во главе стола.

Андрей помнил только, что Льва Николаевича не было, и мучился ожиданием. Графиня была вся быстрая, веселая, говорливая, жизнерадостная, молодая, – несмотря на свои шестьдесят лет. Он слушал ее – и ждал.

Подали суп и пирожки. Отворилась дверь в глубине налево, и вошел старичок, белобородый, со знакомым-знакомым лицом, небольшого роста, немного согнутый, в длинной, как юбка, примятой серой блузе. Шаркая мягкими сапогами-ичигами, он прошел вею залу к своему месту, которое было напротив Андрея.

Графиня их познакомила. Старичок сказал ему что-то приветливое – и все стали есть. Старичок тотчас, же раздвоился в душе Андрея: он видел его, живого человека, как он сидел перед ним, – и в то же время знал, что это Толстой, а не просто человек. И это было несоединимо, не потому, что Толстой был не похож на этого человека, а просто потому, что Толстого он знал давно, с самого детства, а этого старичка видел в первый раз.

Говорили о холодной погоде, о деревне, о квасе. Андрей сказал, что живет в Малороссии и что там теперь тепло. Графиня говорила о том, что в ночь уезжает в Москву, где у нее в мае всегда столько дела по изданиям. Льву Николаевичу подавали отдельное кушанье в маленьких аппетитных судочках, и он ел, согнувшись, по-старчески внимательно. Другим принесли жареного поросенка, нежного, как младенец, с грустно оскаленными зубами.

В конце обеда в комнату торопливо вошла женщина в темном коленкоровом платье, в платочке, с темным иконописным лицом.

– А, это вы, Марья Ивановна! – приветствовали ее.

– Вы пешком?

– Здравствуйте, здравствуйте. У меня дело ко Льву Николаевичу...

Толстой заторопился, извинился, встал, и они ушли куда-то вниз.

– Это Марья Ивановна, – пояснила графиня, – истинная последовательница и ученица Льва Николаевича. Бывшая классная дама, теперь живет в избе, в деревне за семь верст... Обо всех хлопочет всегда, заботится... Вот и теперь, верно, за кого-нибудь просит...

Помнит Андрей, что светлыми сумерками он гулял с Софьей Андреевной и еще с кем-то из семьи по влажному яснополянскому парку, где над тесными толстыми липами блестел юный месяц и пахло черемухой. Софья Андреевна любезно и весело рассказывала ему о семье, об усадьбе, о посетителях, показывала места и полянки, лес, который она сама садила, дорожки, которые были проведены ею же. Вернулись кругом, через амбары и службы. Было сыро, и душисто, и холодно, светлый месяц сник к краю светлого неба.

«Когда же я скажу? – думал Андрей. – Ведь завтра я уеду утром. Да и как скажу? Да и что, собственно, говорить?»

Перед чаем все сидели в той же зале, только в углу, за большим круглым столом, освещенным лампой под широким белым абажуром. Графиня что-то вышивала, дамы тихо пере-

кидывались словами, Лев Николаевич тут же говорил с каким-то неизвестным Андрею посетителем – о литературе.

Посетитель, рослый, угрюмый, в коричневой плюшевой куртке, говорил мало. По-видимому, он был литератор, но фамилии его Андрею так и не удалось узнать. Он говорил мало, но, кажется, не был согласен во всем со Львом Николаевичем, который мягким, однообразным, немного уставшим голосом вел речь о новейших писателях и поэтах. Вероятно, ему много раз приходилось повторять одно и то же. Он говорил, что читает все, но что ему не нравятся, – и он не понимает, как могут нравиться – такие мыслители, как Ницше, такие поэты, как Бальмонт или Сологуб. Ведь есть Шопенгауэр – и есть Тютчев и Виктор Гюго. Что такое Ницше? Разве это не ловкий немецкий фельетонист? Стихи Лев Николаевич вообще никогда не любил, но Тютчев, Виктор Гюго – это поэты, – а Сологуб?

Софья Андреевна, живая и быстрая, как, девочка, схватила с рояля номер петербургского журнала и прочла вслух последнее стихотворение Сологуба – об одиночестве.

– А мне нравится! – сказала она, кладя номер на прежнее место.

Спора не было, литератор почти не возражал. Андрей, занятый своими мыслями и мало интересующийся новой литературой вообще, почти не слушал. Однообразный и мягкий голос Толстого его убаюкивал. Он услышал наконец, что разговор изменился, перешел на религиозные темы – на молитву. Толстой опять говорил один, и Андрею казалось, что кто-то читает ему статью Толстого, сильную, изумительную, – но которую он давно знает.

Андрей чувствовал, что выходит какая-то бессмыслица: ведь ему нужно спросить, ведь этот человек *знает*, ведь он, Андрей, для того и ехал, чтоб спросить.

Но он вместо этого рассказывал Софье Андреевне, отвечая на ее вопросы, что у него милая жена, четверо прелестных детей и что он совершенно счастлив.

Перешли к обеденному столу, пили чай, а потом графиня стала собираться на поезд и уехала. Литератор перевел разговор исключительно на религиозные темы, и вышло как-то, что стали тут же, за столом, разговаривать с Толстым Андрей и литератор, а кругом сидели семейные и привычно молчали.

Мало говорил и Андрей, но все-таки был такой вид, что и он участвует.

Андрей вообще религиозными темами не занимался, не позволял мыслям обращаться в эту сторону, неопределенно и однако твердо чувствуя, что один он тут все равно не справится, а только еще больше запутается, в лучшем случае – примет что-нибудь чужое, готовое, и так из этого уж никогда к не вылезет, *и будет еще ужаснее*. Нет, лучше это оставить, лучше пусть лежит и сторонке. Страшно. Опасно.

Толстовского Бога-Добро он знал и не боялся, но зато Он и не пленял Андрея, потому что ничего не обещая. И теперь. Андрей прислушивался к словам Толстого с надеждой не на его Бога, а на него самого. Что *он* знает?

Вот говорят о личности, о «я». Старый пророк не верит в нее, не видит ее. Личность ограничена временем и пространством; выходя из них смертью – она исчезает, уничтожается. Так говорит пророку его «здоровый смысл», который он высоко ставит.

«А, здоровый смысл!» – думает Андрей. Он знает давно, что здоровый смысл это говорит. Ему неинтересно, – ведь здоровый смысл у всех один, и, между прочим, он же утверждает, что ровно ничего с ним одним нельзя ни знать, ни утверждать.

Лев Николаевич опять сидел напротив Андрея. И сиять Андрей глядел с двоящимися чувствами на знакомое-знакомое старческое лицо, освещенное пламенем свеч, на хмурые брови, светлые, глубоко запавшие глаза под ними, нзжелта-белую негустую бороду и слушал его голос, уже не такой мягко-однообразный, как прежде. Андрею казался он теперь более живым, более человеческим.

Говорят о жизни. Как странно!

Толстой рассказывает, что начал писать свою автобиографию – и увлекся. Но трудно писать! Это труд, почти непосильный для человека; столько неверного, ужасного, тяжелого, гадкого в жизни – как говорить об этом? Да вот, если б он захотел описать только один день с полной искренностью, один день своей *теперешней* жизни...

Андрей вздрогнул при звуке голоса, который так подчеркнул слово: *теперешней*. Как, это он говорит? Он, который всегда знал, что нельзя жить, ничего не зная о жизни, – и который остался жить, который, следовательно, знает, как *жить*? Он с такой горечью говорит о своей *теперешней* жизни? Значит ли это, что и его жизнь, устроенная по его знанию, ему так же тяжела, непонятна, противна и страшна, как всякому его – неустроенная? Так же, как всякому? Что же это?

Андрей всматривался, всматривался в серьезное, такое человеческое, лицо старика, – и оно делалось ему все ближе, все милее, все роднее. И вдруг сам Андрей, перебив литератора, спросил Толстого, но не о том, с чем ехал, не о том, как жить, и уже не как далекого и властного учителя, а просто спросил родного человека что-то о нем самом, о его Боге, о живом его отношении к Богу. Андрею теперь ясно было, что такое отношение у него есть. И хотелось еще убедиться в этом, обрадоваться этому, не за себя, – а за человека, вдруг ставшего навсегда родным.

И до сих пор помнится Андрею голос, которым были произнесены слова: «Ничего не знаю, но знаю, что в последнюю минуту скажу: вот, в руки Твои предаю дух мой! И пусть Он сделает со мною, что хочет. Сохранит, уничтожит или восстановит меня опять – это Он знает, а не я...»

С никогда не испытанным чувством радостной и мирной печали ехал Андрей из Ясной Поляны. Он так и не спросил «учителя» о том, о чем хотел спросить. Но и не мог бы, и уже не нужно ему было спрашивать.

«Учителя» перед ним не было. Был живой, страдающий человек, который всю жизнь искал – и нашел, и узнал что-то; но Андрею было ясно: то, что он знает, – он знает только для одного себя. Великое знание, – но навеки для одного себя, для самого себя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.